

Минус Андошин

* * *

Ну вот, и я говорю о том же
под летней крышей из теплых звезд –
об этом длинном усатом бомже,
что ночью в наших дровах замерз.

Он свой пузырь не допил, оставил,
хотя тянулась в снегу рука.
И, не нарушив старинных правил,
мы помянули его слегка.

Потом пришел милицейский «газик»,
и мент еще обложил бича,
что, мол, нарушил дежурство в праздник,
и ты сцепился с ним сгоряча.

Потом я вынес бутылку водки,
и тем исчерпан был ваш конфликт.
Потом мы в комнате, будто в лодке,
качаясь, плыли, и будто в лифт,

дрожа, валились огонечки
дрожащей елки, и всё путем,
и все мы радовались отсрочке:
когда-нибудь – не теперь! – пойдем.

И были танцы, и все такое,
и «Все там будем!» – сосед кричал,
а мне вопрос не давал покоя:
чего ж он в двери не постучал?

А постучал бы – и не открыли:
немало бродит, не он один.
И Бог с ним, в общем: его зарыли –
и нас зарюют, закон один.

Ну вот и говорю о том же –
все достается своим трудом.
С чего я вспомнил об этом бомже?
Да нет, никто не стучался в дом.



Не сеять, не думать, не плакать, не жать,
не знать ничего из печали.
Июньская полночь стоит, госпожа,
над белыми, жалко, плечами.

Безумные, глупо, латунные псы
покрылись зеленой коростой,
как много тяжелой и нежной красы
на утренних лицах погостов.

Мы все в электричке весенней в гостях
у рельсов, дверей и моторов,
на шпалах, камнях, на белых костях
сошедших с путей командоров.

Конечно же, скоро закончится лед
на мертвых асфальтах Казани,
и белое облако нас обольет
большими, как сердце, слезами.

Ничто не достойно раздумья в ночи,
ничто не достойно печали,
когда облака умирают, ничьи,
над темными, жалко, ключами.

Тимур Алдошин (1961) родился в Казани. Учился в КАИ. Публиковался в журналах «Идель», «Квадратное колесо», «Новая Юность». Подборки стихов поэта напечатаны также в различных альманахах. Возглавляет литературное объединение «ARS Poetica» при Казанском государственном университете

Олово

Олово станет как «О»
в дымном расплаве гаданья,
нимбом прикрыв воровство
в круглой коробке страданья.

В мягком ларце черепном
муку нашарив слепую,
звездчатым шумным блином
прыгнет в лохань голубую...

Освободив навсегда
от изреченного страха...
Тусклый комочек вода
сделает горсточкой праха.

Олово станет как «О»,
выдержав пламя и воду,
но заберет твою боль
светлому небу в угоду.

Будь же подобен и щедр,
встретившись с тайною раной,
выдохнуть сердца из недр
хрупкий порыв оловянный.

Чтобы, расплавясь, уйти
в пара тугое шипенье,
но чью-то душу спасти
от темноты и смятенья.

Чтоб, отразивши, принять
смерти простую невзгону,
и в небесах воссиять,
не испугавшись ухода.



На потеху клоунам и публике,
в цирке, в Колизее, на дворе
мы кусали дырчатые бублики,
круглые, как солнце на заре.

Облако, гляди, над нами тянется
и скрипит, как поезд и кровать, —
у тебя веселый дядька пьяница,
а сестра умеет воровать.

Так что выйдем и наденем чистое
и в манеж рассядемся в песок,
стрелками прямые ноги выставим
всем ветрам на запад и восток.

Купол неба, ангелов овация,
листья плещут плавниками рыб,
если бы не белая акация,
мы их всех перемолчать смогли б.

Скоро будет радость подвенечная,
ясная, как быстрая слеза,
любящая светлые, беспечные,
ласковые хитрые глаза.



Все ли ангелы идут с губами в землянике?
Крепдешинами дыша сквозь хвойные шкафы?
И ты девочка еще, и на толчке цыганок крики:
«Мальчики! Шарфы! Шарфы! Шарфы! Шарфы! Шарфы!»

Шар воздушный голубой. Лошадка. Голуби. Брусчатка.
Николай Васильич Гоголь барышню крадет!
Встанем в кухоньке, славянка, и научимся прощаться,
и любить, и ладить елочке поклоны: до свиданья, Новый Год!

До свиданья, Рождество! Вот скоро предавать Рожденного,
и пустым постом разлуку искупать.
... Как ходила ты вокруг сахара вокруг женого,
как щекоткой роз вдруг жегся Исфахан!

Ты да я, да мы с тобой – что стоим в небе, где возы с трещотками,
где воланы юбок раздражают нюх вола –
в сине-бело-золотое, в воскресение фарфоровое прощенное,
разлетаясь по паркетам по вощеным, да обнимемся дотла.

Шарф апрельский твой смешной. Губная гансова гармоника.
Что хотел в лесах твоих найти он: Родины? Тоски?
... С тараканом хохоча, в долбленной доньке дочка моется,
восхищенно поднося Катюньке куколке соски.

Доля

Вечерами тоска глухая
в государстве узкоколейном...
Ах ты, доля моя сухая –
запиваю тебя портвейном.

Выйдешь, пьяненький, в чисто поле –
тишина стоит, как проруха.
Хоть бы дождик случился, что ли!
... В мире пусто – как в горле сухо.

Ах, как сушит тоска предместий
сердце, ищущее вход в город!
Для взыскующего Невесты
жажда – много страшней, чем голод.

Нимб сатурновых полнолуний,
сушка, фенька, кольцо, прореха...
«Есть ли край?» – говорю Миуне.
«Рай, рай, рай...» – отвечает эхо.

Детской слезкою затихая,
как в подол, утыкаясь в камни...
Даже кровь, как вода, сухая
в необласканной Богом Кане.



Бывало, хорошо: глотнешь кусочек неба
на закуску сирую, и дальше марш-галоп.
И думать незачем о прелестях Эреба,
когда вот он: весь в розанах сугроб.

Весь в розанах, как детства одеяло,
прощеньем и прощанием цветет,
и пусть ребенка ждет от мертвого Диана, –
все-все равно, и иволга метет.

И иволга плетет крючком над Волгой
смурную речь о подвигах, о снах,
о том, что по мосту идти недолго,
а за киоском – глядь, она – Весна.

От ног твоих корявых, от заботы
равнять секатором избыточность ветвей –
бежать, как фрайер эльф, в восторженность субботы
лобзать ступни у доченьки твоей.

Как хорошо с подаренным колечком уйти,
лист подмахнув: все отбомбил!
В подвальной сотне грамм умоется сердечко,
и сушечка вкусна, что твой пломбир!



Рок, как дантист, говорит: сплюнь.
Трижды стучу о крест,
императрица эпохи Сунь,
лучшая из невест.

Жилами вышитое шитье
жертвенного Быка,
бабочки выше твоё житье,
полночь недалеко.

В сущности, гибель – от слова «гнуть»
колышек в колесо.
Непроходим, Ахиллес, твой путь,
в каплях твоё лицо.

В поте лица не сойти с кольца,
словно с крыльца. Плюнь.
Не твоего, женишок, конца
плаха Эпохи Сунь.

Не твоего, человек, ума,
и не из этих мест, –
в панцире воющая тюрьма
лучшей из всех невест.



Дочь хлеб крошила, забывая есть.
За нею важно голуби шагали.
За окнами апрель, пушистый весь,
катал леденчик счастья за щеками.

Твой мокрый хлеб, да пара золотых,
с отливом сизых, радужных, червлёных,
твой мокрый пол, да лепет в запятых,
все гуленьки да гуленьки, гулена.

Да с неба мокрый снег, да тяжела вода
небес над гордою главою,
и ты невесела, невесела,
усмешкой улыбаешься кривою.

Но голуби-то ходят, хлеб клюют,
дочь синтаксис проходит с голубями,
в раю на небе ангелы поют,
благословляя дом с его хлебами.

Вино еще не налито. Вина
еще никто не сжал из винограда.
И сердце ждет, и смотрит из окна
на трудную работу снегопада.



Каплют белые глазницы –
слезы, вечность, пустота:
то синица, то Жар-птица,
то две досточки Христа.

Ходит, бледная, по свету,
как Офелия, нема,
то танцует, как Одетта,
то горит, как Кострома.

Без нее довольно бдений
у карнизов и у крыш,
несвиданий, нерождений,
невосходов Солнца. Лишь

голос твой. Лишь голос, голос.
Говоришь, что нет комет,
что не стал на эту горечь
тяжелее белый свет.

Красота конца и боли,
та, что раньше жгла меня,
исчезает в чистом поле
за хвостом тепла и дня.

Морок светопреставлений,
Ахеронское весло –
выгорают, как поленья.
Мне тепло, тепло, тепло.



50

Кто-то после аборта, а кто-то любовника бросил.
Кто-то просто целует меня.
Не грусти, Форнарина, февраль – это вовсе не осень,
это пауза жизни, с подарками взрослых возня.

Это кто-то шуршит и тесьмою и плотной бумагой,
выживая коленкой из двери нас – дети, нельзя!
Ничего, мы возьмем на трюмо ваш патрончик с помадой,
зеркалам пририсует глаза.

Я люблю тебя – о, не скажи свое имя,
и меня не спроси –
анфиладами, в гриме, в термическом Риме,
в минаретах фарси,

в детском садике, где и машинки и мухи
в тихий час сладко спят –
пустим слюнку, распустим и листья и слухи,
и косички до пят,

подстрижемся, покрасимся хной, дочке сварим пельмени,
рассчитаем ряды.
... Видишь, как деревья преклонили колени –
они чают движенье воды.

Это чует на кухне движение чая
чашкой полный буфет...
Кто-то любит меня, кто-то царство венчает,
кто-то просит конфет.

Кто-то вложит ладошку в ладошку на ощупь –
увести из чулана, из сна –
в чистоту, где невестятся Богу высокие роцци,
где срывает обертки с подарков весна.

Краски

А.

Синий, синий, голубой –
не хочу играть с тобой!
Ты волной в меня качнулся,
я тобою захлебнулся.

Золотистый, желтый цвет –
ты прекрасен, спору нет,
но разлука и измена –
твой отравленный букет.

Цвет румяный, алый, красный –
ты горячий, ты опасный!
Ты пошел хлестать из вены
яростно и откровенно...

... Отпечатан во Вселенной
красный крест твоей сирены...

... А потом – пришел зеленый.
Взвился в операционной
над пустыней опаленной,
невозможный и влюбленный!

Цвет надежды, цвет покоя
молодой звенел листвою.

